

Геннадий Разумов

Зебра полосатая



Геннадий Разумов

**Зебра полосатая. На
переломах судьбы**

«Accent Graphics communications»

2018

Разумов Г. А.

Зебра полосатая. На переломах судьбы / Г. А. Разумов — «Accent Graphics communications», 2018

Чем выше мы взбираемся по ступеням лет, тем делаемся более дальнорезкими, тем большее пространство охватывает наш широкоформатный взгляд. Зато мельче, непонятней становятся отдельные частности, неразличимее детали. Надо одевать очки. Но есть люди, глаза которых не тускнеют от времени, и они без всяких линз видят прошлое, сохраняя в памяти множество имен, названий, фактов, дат. Такой способностью поразил автора этой книги его сослуживец Евгений Зайдман. В течение многих вечеров за чашкой кофе или кружкой пива он рассказывал ему о себе. Оказалось, что не только следователь уголовного розыска и резидент иностранной разведки может похвастаться необычайными событиями своей жизни. На переломах судьбы простые смертные тоже ввергаются в крутые повороты, зигзаги, их жизненный путь тормозится трудными подъемами и опасными провалами. Надо лишь приглядеться, вспомнить, осмыслить и рассказать о прошедших годах.

© Разумов Г. А., 2018

© Accent Graphics
communications, 2018

Содержание

Аннотация	5
Предисловие	6
Часть I	10
Глава 1	10
Моя встреча с товарищем Сталиным	10
Оловянные солдатики и остров Реюньон	13
В развес из бочки	16
Преображение Преображенки	19
Причуды архитектуры	22
Глава 2	27
Грозный жизни перелом	27
Тревожный рев сирен	31
Крыша поехала	32
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Геннадий Разумов

Зебра полосатая. На переломах судьбы

*И не надо портить нервы.
Вроде зебры жизнь, вроде зебры
Черный цвет, а потом белый цвет —
Вот и весь секрет!*

сл. Л.Дербенева, муз. А.Зацепина, 1971 г

Аннотация



Чем выше мы взбираемся по ступеням лет, тем делаемся более дальноркими, тем большее пространство охватывает наш широкоформатный взгляд. Зато мельче, непонятней становятся отдельные частности, неразличимее детали. Надо одевать очки.

Но есть люди, глаза которых не тускнеют от времени, и они без всяких линз видят прошлое, сохраняя в памяти множество имен, названий, фактов, дат. Такой способностью поразила автора этой книги его сослуживец Евгений Зайдман. В течение многих вечеров за чашкой кофе или кружкой пива он рассказывал ему о себе.

Оказалось, что не только следователь уголовного розыска и резидент иностранной разведки может похвастаться необычайными событиями своей жизни. На переломах судьбы простые смертные тоже ввергаются в крутые повороты, зигзаги, их жизненный путь тормозится трудными подъемами и опасными провалами.

Надо лишь приглядеться, вспомнить, осмыслить и рассказать о прошедших годах.

И подумать, почему пришлось пешком преодолевать трудности полосатой зебры жизни, почему не сменил ее прямолинейность на многоходовость шахматной доски, не пробрался из пешек в офицеры, не плывал ладьей, не ходил конем.

Предисловие Знакомый незнакомец

*Прощусь покуда с мыслями угрюмыми.
И стану о былом писать моем:
Былое, разукрашенное думами,
роскошным выливается враньем.*

И. Губерман



Прятавшееся за оградой плотных облаков, вечернее солнце нашло просвет-бойницу и ударило в глаза прямой наводкой. Наверно, поэтому я не разглядел шедшего навстречу человека, который, вдруг остановившись, пристально на меня посмотрел.

– Здрасьте, – сказал он нерешительно.

– Здрасьте, здрастьте, – ответил я и для приличия добавил: – Как поживаете, что новенького.

– Как-то так, ничего, вроде бы. Не совсем о'кей. Скорее, фифти-фифти. Но жить можно. А у вас что?

– Да, вот тоже, живу-поживаю.

Я напрягся и с усилием стал вспоминать, где встречал этого старого еврея, но ничего не надумал.

– Главное, – многозначительно продолжил я на всякий случай, – держаться в вертикальном положении.

– Да, уж, – откликнулся знакомый незнакомец, – в наши-то годы. Если бы только не этот проклятый артрит – то в правую коленку, собака, вцепится, то в левую.

– Много еще и от погоды зависит, – взглянув на темнеющее небо, поддержал я злободневную тему.

Потом снова раздумчиво покосился на казавшуюся такой знакомой физию собеседника.

"Кто же это такой?", – ворочались у меня в голове вопросы-бревна, но вместо ответа зачем-то построили какую-то кривую избушку бесполезного воспоминания.

Во время одной из частых тогда командировок повстречался мне в местном рейсовом автобусе некий москвич, которому, по его словам, я тоже показался знакомым. Мы разговари-

лись, стали долго и подробно перебирать в памяти школьных и институтских друзей, приятелей, коллег и только после целой серии мозговых атак догадались в чем дело.

Выяснилось, что в течение несколько лет подряд по дороге на работу мы ежедневно по утрам встречались у метро Семеновская – я входил в него, а он выходил. Вот и пригляделись лицами.

Но здесь, чувствовалось, было что-то другое, более близкое, тесное, долговременное. И тут очень кстати я неожиданно услышал встречную подсказку:

– Пожалуй, с тех пор, как мы с вами работали в Гипроводхозе, много воды утекло. А вы, вижу, меня, кажется, не узнали.

"Ну, конечно же, – сообразил я, – это же Вайнштейн из Строительного отдела, что же я сразу не разобрался. Вот болван".

– Помню, помню, как же, как же, – соврал я, – мы с вами тогда по многим вопросам общались. Разве забудешь свары в кабинете замдиректора? И драчки за квартальные премии.

– Да, уж было дело. А помните, как мы на картошку ездили? И не единожды. А как-то раз в совхозе под Волоколамском почти две недели проторчали. Еще дожди тогда пошли, и мы на работу дня три не ходили, все водку хлестали и огородным лучком закусывали. Клёвые времена были, молодые, озорные.

Его глаза загорелись веселыми огоньками, губы расплылись до ушей. Он помолчал, наслаждаясь приятными воспоминаниями, потом добавил с хитровой усмешкой:

– А Людочку из Планового отдела помните? Как же хороша она тогда была в той своей юной зрелости. У нас с ней тогда все и началось.

Услыхав такое, я чуть не задохнулся от гнева. Уши мои вспыхнули горячим огнем, щеки покрылись рваными красными пятнами.

"Ах, ты мерзавец, – взорвался я запоздалой ревностью. – Никакой ты, оказывается, не Вайнштейн из Строительного, а тот паршивый фрукт Женька Зайдман из Гидротехнического. Это ты отбил у меня Людмилу, которая тогда под вечер от меня к тебе в палатку убежала. А я ведь, дурак, чуть ли не жениться на ней собирался, даже, кажется, предложение ей делал. А ты, скотина, переманил девку".

Отдышавшись и погасив приступ ярости, я взял себя в руки, несколько раз глубоко вздохнул, немного успокоился и подумал:

"Однако, чего так раскипятился? Совсем с катушек скатился. Черт с ним, и со всем этим прошлым. Подумаешь, ну переспал с Людочкой один раз. Делов-то. Будет он за это в аду баланду хлебать".

Я отвернул рукав куртки и с нарочитой озабоченностью посмотрел на стрелки своих сейковских.

– О, уже время, мне пора, – заторопился я, резко повернулся и, бросив злой взгляд на своего старого соперника, стремительно шагнул в сторону. Надо побыстрее отвалить от этого негодяя.

Но вдруг остановился, подумал и решил с уходом повременить. Снова направил взгляд на Зайдмана и, проглотив слюну, которой только что чуть было в него не плюнул, спросил:

А кого вы еще видели из наших гипроводхозовских сотрудников?

– Как это кого видел, – удивился тот, – каждый день вижу. Неужели вы не знаете? Ту самую Люду ежедневно и вижу. Как же ее не видеть – она ведь моя жена. Разве не помните, что мы с ней после той картошки и поженились?

"Ого-го", – вздрогнул я от неожиданности. Вот оно что! Каков прикол, каков поворот сюжета. Ну, и дела.

Откуда же я мог об этом знать? Ведь я тогда так обиделся и расстроился, что перешел даже работать в другое помещение института. Чтобы рожу этого типа больше не встречать.

А у них-то, оказывается, все было вполне серьезно, никакая не банальная интрижка, как я тогда подумал, а что-то, вроде бы, любовь.

Впрочем, теперь никакого значения это не имеет, так, лабуда, ништяк.

Я окончательно остыл и опять повернулся к бывшему сослуживцу:

– Ну, хорошо, Люда, так Люда. А еще кого-нибудь встречали?

– Даже не припомню, кажется, никого особенно. Впрочем, – Зайдман задумался, поморщил лоб и, прикрыв веки, сказал неуверенно: – Последний раз по телефону разговаривал с Разумовым, наверно, помните такого. Вы-то не встречали его случайно?

Вдруг он осекся, вновь со вниманием уставился на меня, и слышно стало, как в его лысом черепе закрипели ржавые колесики мозговых извилин. Затем он густо покраснел, вытер со лба капли пота бумажным платочком и тихим хриплым голосом смущенно залепетал:

– Ой, Геннадий, простите, бога ради. Как же это я сразу не узнал вас? Почему-то решил, что вы – Вайнштейн из Гидротехнического отдела. Надо же так перепутать. Ой, как стыдно.

Вот мы были и квиты. Я удовлетворенно про себя хихикнул и с удовольствием, как в мягкое кресло, погрузился в хорошее расположение духа.

Но, собственно говоря, могло ли быть иначе? Ведь мы оба были стары, слабы мозгами, и нас обоим неудержимо настигал и цепко хватал за шкуру вредный пес-склероз.

И я уже без прежней недоброжелательности похлопал Зайдмана по плечу.

– Ладно, чего уж тут. Пошли лучше пивка попьем, – предложил я, и тот сразу же согласился.

Мы зашли в ближайшую забегаловку и просидели там добрых пару часов. Все говорили, говорили, вспоминали, вспоминали – ностальгировали.

Потом долгие годы мы с Зайдманом приятельствовали, постоянно встречались, посвящали друг друга во все свои дела и заботы, делились радостями и обидами, надеждами и разочарованиями, жаловались на детей и артрозные коленки. Оказавшись близкими соседями, мы почти каждый вечер выходили скрести красовками асфальт уличных тротуаров, гуляли, смеялись, грустили, заходили в кафешки попить чайку, пива, а изредка и чего-нибудь покрепче.

Евгений Айзикович оказался неплохим рассказчиком, и я слушал его в оба уха, с каждым разом все больше утверждаясь в том, как тесно схожи наши жизненные пути и как близко совпадают они с судьбами многих других моих сверстников. Мы оба, попав по случаю в XXI-й век, перешагнув порог тысячелетий и чуть было об него не споткнувшись, пытались теперь хоть как-то к нему притереться. То с большим, то с меньшим успехом.

* * *

Переданные нам чужие мысли, истории, анекдоты, попав в черепную коробку, накапливаются, собираются в кучу, выстраиваются в пирамиду, вытягиваются в ряд, оттачиваются, дополняются, а потом вдруг как завопят: “Да, мы вовсе не чужие, мы свои, родные, собственные”. Разве легко преодолеть искушение их принять, взять себе, присвоить?

Вот и мне не удалось избежать соблазна поведать бумаге то, что я услышал за долгие многомесячные вечера от моего ровесника, сослуживца, коллеги, единомышленника и единоверца. Конечно, с его полного согласия. Он не отказался стать таким собирательным образом, представителем нашего поколения, лирическим героем моего повествования. А для большей достоверности и документальности, я решил подать его прямым текстом, от первого лица. Пусть Женя Зайдман сам расскажет о своей жизни.



Часть I

Летели дни, за годом год

Глава 1

В пленках времени

Моя встреча с товарищем Сталиным

Впервые я открыл рот в большом помещичьем доме, поныне стоящем на высоком берегу второй по величине московской реки Яузы. Нет, я не был ни сыном помещика, ни дитём господского конюха. Просто-напросто этот украшенный алебастровой лепниной трехэтажный особняк русская революция превратила в родильный дом Сталинского Райздравотдела гор. Москвы. Правда, теперь в XXI веке он снова стал частной собственностью, наверно, уже каких-то новых русских.

В 9 часов вечера 14 мая 1932 года моя девятнадцатилетняя мама, наконец, перестала страдать-мучиться, и не столько от родовых схваток, сколько от огорчения, что я оторвал ее от праздничного стола в доме № 6 на Суворовской улице. Дело в том, что именно в этот момент там был поднят очередной тост в честь юбилея серебряной свадьбы ее родителей, моей бабушки с дедушкой.

Тот год был знаковым не только для нашей отдельной семьи, но и для всей страны.

Магическим образом свернулся, сжался календарь: большевикам оказалось подвластно время – первая пятилетка стиснулась до четырехлетки. А ее конец стал началом целой новой эпохи, эры промышленной революции. На вздернутое Октябрем 17-го рабоче-крестьянское население страны в тот год уже всю обрушилась индустриализация, коллективизация, а интеллигенцию скучковали в “Академию художников”, “Союз писателей” и другие поднадзорные загоны культуры и искусства.

Мне еще не стукнуло 2 месяцев, как был принят и пресловутый закон о колоске (“Об охране имущества государственных предприятий...”), по которому любой подросток, сорвавший в поле колосок ржи, мог загреметь “на перековку” в соловецкий лагерь. Вслед за этим грянул свирепый голодомор в Поволжье, на Украине, в Нечерноземье.

Наверно, из-за продуктово-витаминной нехватки я появился на свет хилым, слабым, худосочным. С первых же дней мое вхождение в жизнь было неуверенным, нерешительным. Я преступно медленно прибавлял в весе, который сильно отставал от нормы и совершенно не отвечал стандартам здоровья будущих строителей Социализма. Но приходившая к нам домой участковая педиаторша мою ущербность валила не на недостачу еды, а на недобросовестность моей юной мамы-студентки, обремененной более, чем мною, курсовыми работами, зачетами и экзаменами весенней сессии в педагогическом институте.

– Если вы, мамаша, – строго предупредила она ее, – не отнесетесь серьезнее к тому, что у вас слабый ребенок, вы его потеряете.

Но и после этого назидания я не стал богатырем. В течение всего своего мало-сытного пленочного детства оставался хилыгой – худым, малорослым, узкогрудым, болезненным. Таких в то время обзывали “глистами”, хотя и на самом деле где-то в моих кишках шерудились зловредные аскариды.

* * *

Некоторые люди уверяют, что помнят себя с годовалого возраста. Так, Лев Толстой писал, что его память отчетливо запечатлела грудь своей кормилицы. А другой бородач описал брочку, в которой его новорожденного, якобы, везли от сельской повитухи. Но, кажется, рекорд поставил американский классик научной фантастики Рэй Бредбери, который на своем 90-летнем юбилее сказал корреспонденту: “Я прекрасно помню момент моего рождения. Я помню себя и до рождения. Помню мягкий розовый свет, обволакивавший меня”.

Мне же чемпионом быть не дано. Мое первое воспоминание относится лишь к 4-летнему возрасту. Память сохранила ощущение горячеватости морской воды в железной оцинкованной ваночке на пляже одесского дачного Люсдорфа, где меня таким образом лечили от эпидемиически распространенного в те голодные годы детского рахита.

Другое воспоминание относится тоже к поправке моего слабого здоровья, поверженного подхваченной где-то убойной скарлатиной. Из затемненного изморозью оконного стекла больницы палаты я, жалкий, заплаканный, с размазанными по щекам соплями, выглядываю на заснеженную улицу, откуда машут мне натужено улыбающиеся мама, бабушка и тетя Роза.

А вот еще сцена. Мы сидим за столом, и мама, учившаяся на физмате, показывает мне пылинки в солнечном луче – пытается на их примере объяснить, что такое молекулы и атомы. А мой отказ слезть со стула и поднять выпавший у меня из рук на пол кусок хлеба с маслом она осуждает с позиции теории массообмена, доказывающей, что промедление его поднятия грозит еще большему загрязнению.

Среди других дошкольных воспоминаний – приезд из Ленинграда маминого друга юности, а тогда известного поэта Всеволода Азарова (на самом деле, Лёни Бронштейна). Не знаю, кажется, ему (а, может быть, еще кому-то) принадлежали слова звеневшей тогда из радиорупоров милитаристской песни “Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага...” Мне особенно запомнился рассказ именитого гостя о его встречах с вывезенными из воюющей Испании детьми моего возраста. Кстати, с некоторыми из них позже я работал и прилаживался (в перестроечные времена большинство их вернулось на родину).

Ну, и конечно, наиболее ярко высвечивается в памяти то, как я, сжимая коленками голову отца, в стройной колонне сотрудников его института демонстрировал 1-го мая на Красной площади преданность партии и правительству. Вначале с досадной беспомощностью сквозь плотную ограду полотен первомайских плакатов я безуспешно пытался на мавзолее Ленина достать глазами товарища Сталина. Но потом мне вдруг несказанно повезло – в просвете красных знамен быстро промелькнула коренастая фигура великого вождя, приветливо помахавшего мне рукой. Но все равно я не был полностью удовлетворен, так как сильно завидовал счастью черноволосой девочки таджички Мамлакат, обнимавшей Иосифа Виссарионовича на всюду красавшихся цветастых картинах-плакатах.

В то время вообще со всех стен, как внутренних, так и наружных, за каждым гражданином СССР, кроме главных советских вождей, внимательно следили и зоркие глаза знаменитых писателей, ударников социалистического труда, стахановцев, выдающихся деятелей искусства. Это хорошо укладывалось в многовековые православные традиции русского народа. Стародавние иконы Христа, Богородицы, святых и апостолов удачно замещались образами Чкалова, Водопьянова, Расковой, Гризодубовой и других “сталинских соколов”, летавших к облакам, в стратосферу и на Северный полюс.

Не знаю, какими они все были героями, но с одним из них Иваном Папаниным позже я встречался, когда стал членом Всесоюзного географического общества, а он был его председателем. Этот облаканный властью околонуучный деятель с кругозором фабричного завхоза тогда показался мне туповатым малообразованным мужиком, хотя и явным хитрованцем.

Выправляли нам извилины в мозгах и прямоточные лозунги типа *“Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство”* или *“Народ и партия едины”*. Разного рода агит-призывы, напоминания и предупреждения постоянно сопровождали нас даже в повседневном быту. Так, над входом в столовую нашего летнего детского сада в подмосковном Томилине крупные ядовито зеленые буквы строго указывали: *“Мойте руки перед обедом”*, а на веранде, где мы возились, когда шел дождь, большой фанерный плакат учил, что: *“Сморкаться надо только в платок!”*

Однако такие позже ставшие широко известными понятия, как репрессии, ГУЛАГ, враги народа в том моем довоенном прошлом совсем отсутствовали. Скорее всего, родители избегали при мне вести какие-либо разговоры на политические темы.

Лишь через много лет я догадался, что под густо замазанными черной краской пятнами в тогдашних наших школьных учебниках были скрыты физиономии бывших знаменитых военачальников Тухачевского, Косиора, Убаревича. И что грозным низким баритоном, много часов подряд обличавшим по радио неких “фашистских наймитов”, “прихвостней империализма”, “подлых бандитов и шпионов” обладал Главный государственный прокурор-обвинитель Андрей Януарьевич (“Ягуарович”) Вышинский.

Я ничего тогда не знал о проходившем в Колонном зале Дома Союзов суде над “правотроцкистским блоком” и участниками “антисоветского заговора”. Ни о каком крестьянском голодоморе, зеках Беломорканала, лагерях Солихарда, Воркуты, Магадана, ночных “черных воронках” и прочих страшных свидетельств “Великой сталинской эпохи” я и слыхом не слыхивал. Слава Богу, эти беды кровавых 30-х годов прошли мимо моей семьи.

* * *

С раннего детства я слыл среди своих сверстников большим “воображалой”. Это не значило, что я слишком задавался, был очень заносчивым и много себе позволял. Нет, просто я много всего выдумывал, сочинял, фантазировал. Причем, не ленился делиться своей брехней и со своими сверстниками. Воспитательница в детском саду даже жаловалась моим родителям, что я по вечерам не даю никому спать, рассказываю всякие небылицы. А позже, когда мои пальцы стали овладевать деревянной ручкой с железным пером № 89, я уверял, что именно им совсем недавно писал сам дедушка Калинин, знаменитый всесоюзный староста.

Каждый раз я так сильно увлекался враньем, что сам начинал верить в истинность своих выдумок, они мне снились по ночам и наутро представлялись полной реальностью. Но, конечно, все мои фантазии без сомнения большей частью были перепевом книжных сказок и рассказов, которые мне читали взрослые.

В моей интеллигентской семье, как и во всей “самой читающей стране мира”, верховодило уважение и даже преклонение перед книгой.

Она всегда была “лучшим подарком”, ее дарили на день рождения и на Новый год, на новоселье и на свадьбу. Книги никогда у нас не были бытовым ширпотребом, и любовь к ним естественно перетекала в страсть к их собирательству. Преодолевая тесноту комнат и узость коридора, везде тянулись к потолку рукодельные и покупные книжные полки и стеллажи.

Еще не умея ходить, я разглядывал в “книжке-малышке” цепкие лапки курочки Рябы и перепончатые крылья мухи Цекотухи. Еще не зная, как завязываются шнурки на ботинках, я узнавал, как теряет лепестки “цветик-семицветик”, как прекрасна и страшна “Снежная королева”. А первой самостоятельно мною прочитанной книжкой были “Мифы древней Греции”, ее обильно иллюстрировали ярко крашенные кентавры, медузы-горгоны, амазонки, занимавшие более половины всех страниц. Одновременно появились и “Басни дедушки Крылова”, привле-

кавшие внимание человекоподобными зверюшками. Позже, подростком, я входил в жизнь с “Двумя капитанами” и “Томом Соьером”, впервые познавая из них хитросплетения человеческой порядочности и человеческой подлости.

Книги сопровождали меня всю жизнь. Даже во время войны, уезжая в эвакуацию, мои родители в ущерб лишней простыне, кофте, жакету клали в чемодан томик Чехова и перепечатку Бялика. И я с семилетнего возраста нигде и никогда не расставался с разваливающимся от старости изданием 1928 г “А.Пушкин. Сочинения”, среди страниц которой до сих пор лежат засушенные для школьного гербария листочки подмосковной рябины и глянцевые фантики ротфронтских конфет.

Этот крупноформатный фолиант не покидал меня никогда и нигде. И останется со мной до самого моего конца. Вместе с ним в той же размерности и той же изношенности мой американский книжный шкаф облагораживает и другой букинистический раритет – “В.В.Маяковский. Сочинения в одном томе”, ОГИЗ 1941. Этот футурист-авангардист сыграл немалую роль в становлении моих вкусов и привязанностей. В старших классах, когда уроки литературы давили нас прессом школьной обязаловки, Фонвизиним, Чернышевским, Некрасовым, Толстым, маяковские лесенки были вождленным глотком свежего воздуха. Недаром я даже сочинение на аттестат зрелости писал по “Облаку в штанах”, “Хорошо” и “Про это”.

В пресловутые брежневские времена я, как и все, копил и таскал на своем горбу тонны макулатуры, чтобы стать счастливым обладателем “Трех мушкетеров” и “Королевы Марго”. В условиях тотального дефицита радовался доставшемуся мне по случаю томику М.Цветаевой и чуть ли не прыгал от радости, получив после выстаивания в длиннющей очереди талон на приобретение полного собрания сочинений Ф.Достоевского.

Оловянные солдатики и остров Реюньон

Первый раз в первый класс я, семилетка, пошел 1 сентября 1939-го, на целый год раньше, чем это в те времена полагалось. Такая сомнительная для меня удача была связана с тем, что и моя мама, только что окончившая свой пединститут, тоже в первый раз пошла в школу работать, причем, специально для меня в ту же № 432 Сталинского района города Москвы.

Первой моей учительницей была некая Агния Петровна, строгая не улыбочивая женщина с тугим пучком волос, завязанных на затылке узкой черной ленточкой.

В течение несколько дней я носил с собой в школу только что подаренного мне деревянного акробатика, которого я никак не мог оставить одного скучать дома. Состоявший из плоских дощечек, он ловко подгибал согнутые в локтях руки и умело прятался в портфеле между тетрадкой по письму и “Азбукой”. Он вылезал из-под парты чаще всего на уроках правописания, когда Агния Петровна брала в руки мел и отворачивалась к грифельной доске. Но, оказалось, что у нее, как у рыбы, неплохо было развито боковое зрение. Для моего Ванечки оно стало роковым. Ему не удалось спрятаться под парту так же быстро, как училке схватить его за чубастую головку.

– Получишь обратно только, когда родители придут, – грозно прошипела она со злой ухмылкой.

Вообще-то я плаксой никогда не был, но на этот раз, придя из школы домой, почти заплакался – так мне было жалко того Ваньку-встаньку. Мама, конечно, меня заверила, что все будет хорошо, и не обманула – действительно, на следующий же день деревянный акробатик снова ко мне вернулся.

– Но учительница на тебя жалуется не только из-за этой игрушки, – сказала мама, наблюдая процедуру возвращения ваньки на законное место в картонной коробке, где его поджидал сильно потертый плюшевый мишка, грузовичек-“петька” (пятитонка), оловянные солдатики и паровозик, склеенный из плотной цветной бумаги.

– Она сообщила, – продолжала мама, – что ты еще и плохо рот открываешь, не отвечаешь, когда тебя о чем-то спрашивают. И потом, – мама помялась немного, затем слегка улыбнулась. – Что же ты нам не сказал, что в первый день описался? Вся парта, Агния Петровна говорит, мокрая была. Надо было попроситься выйти, и все было бы в порядке. Что же ты у нас такой уж стеснительный растешь?

Вот так, увы, и в дальнейшей своей жизни, никогда я смелости ни в чем не проявлял, каким был трусливым застенчивым плюхой, таким и остался.

* * *

В моем детстве еще с довоенных лет немалое место занимали зеленые оловянные солдатики, которые долгое время оставались моими главными игрушками. Некоторые из них стояли навтыжку, держа у плеча винтовку или красное знамя. Другие, вытянув штыки чаще всего с обломанными концами, шли на врага в лобовую атаку. Третьи стреляли с колена или в положении лежа. Особенно потертым и потерявшим окрас от частого потребления был у меня пограничник с собакой. Он зорко вглядывался вдаль из-под ладони и сдерживал рвущуюся на нарушителя границы сторожевую овчарку. То был оловянный образ знаменитого героя-пограничника Никиты Карацупы и его легендарного пса Ингуса.

Но потом больше всего мое внимание стали привлекать почтовые марки. Я прилаживал на их обратную сторону кусочек клейкой бумажки и неровными рядами помещал в альбом. Я мог долго рассматривать одетого в длинный балдахин абиссинца, сидящего на верблюде с ружьем наперевес, или германского кайзера, голову которого увенчивал диковинный шлем с пикообразным навершием, оно представлялось мне рогом для бодания с врагами.

Благодаря маркам я объездил весь мир, особенно меня влекли дальние бананово-пальмовые экзотические страны. Я шагал по пыльным дорогам Эфиопии и Эритреи, пробивался сквозь чащу тропического леса на Гваделупе, Барбадосе и Санта Лючиие, заезжал в итальянскую колонию Киренаику, в Гондурас, Эквадор, даже заплывал на принадлежавшие Франции острова Реюньон, Сен-Пьер и Микелон. Мои, хотя и очень поверхностные, но довольно обширные познания земного глобуса должны были вызывать зависть не только у моих сверстников, но и у многих взрослых. Ведь я знал о существовании даже таких мало известных (позже исчезнувших) заморских государств, как Сиам на территории нынешнего Таиланда или Дагомеи и Мавритании в Африке. Часами я сидел перед своим альбомом марок, забывая о дробях с числителями-знаменателями и законах Архимеда, Ньютона, Бойля-Мариотта.

Кстати, и название ближневосточной страны Палестина (синоним “Святой земли” или “Земли Израиля”), в то довоенное время у меня прямо ассоциировалось со словом Еврейская, никакого отношения к арабам не имевшее. Такую принадлежность показывала бело-голубая почтовая марка с шестиконечной звездой посередине. Я тайком от бабушки отслонявил ее с узкого серого конверта, вытасченного из старого бельгийского дорожного сундука.

Но самые красивые марки появились у меня, когда на карте еще воевавшего в 1944-м году СССР вдруг возникла некая Тувинская автономная область. Почему-то именно по этому поводу были тогда выпущены большие красивые марки необычной треугольной и ромбовидной формы. Из них я узнал, что страна Точва (государство “Льва”) со столицей Кызыл населена конниками с пиками и луками, оленями, украшенными ветвистыми рогами, медведями, скалящими пасть, и мохнатыми яками с висящей до земли шерстью.

Никаких специальных альбомов для марок тогда еще не существовало. Пришлось простой суровой черной ниткой сшить из тетрадных листов небольшой альбом-самоделку. Он проехал со мной по всем дорогам долгой жизни, и я бережно храню его до сих пор. Пусть уж он

останется со мной до конца, и только потом его выкинут вместе со всеми другими сокровищами моего домашнего архива.

Именно из того детского увлечения филателией и произошла моя пожизненная страсть к путешествиям, которые, я всегда ставлю на место № 2 в своей жизни (а что на 1-м?... Правильно – см. гл.14).

В те мои далекие детские времена я, конечно, не мог не примкнуть и к общему тогдашнему поветрию – собиранию фантиков, таких сложенных плоским конвертиком конфетных бумажных оберток. Их не только собирали, ими играли. Клали такой фантик на верхнюю часть ладошки и нижней резко ударяли о край стола. Если твой фантик падал ближе, чем у твоего соперника, то он его выигрывал и себе забирал.

Наиболее интересные конфетные обертки появились в 1939 году после так называемого “воссоединения” прибалтийских Латвии, Литвы и Эстонии. Они были необычно яркие красочные и котировались на нашем мальчишечьем рынке очень высоко. Хотя вкус самих конфет мне почему-то не запомнился.

Зато почему-то вспомнилась тогдашняя моя няня Маруся, которая пила чай вприкуску, кладя на язык отбитые от сахарной головки мелкие обломки и заедая их большим куском... селедки. Видя наше недоумение, она смешно чмокала губами:

– Это чтобы в роте хорошо было.

Вот так, о вкусах не спорят

Не знаю, насколько справедливо утверждение, что коллекционирование присуще преимущественно мужским особям, но я встречал в жизни большое число таких энтузиастов среди представителей обоих полов. Так, жена моего дяди, у которого, кстати, была большая коллекция старинных открыток Одессы, всю жизнь заполняла полки своего буфета фигурками собачек (только пуделей) из фарфора, керамики, металла, папье-маше, камня и других традиционных материалов. У одного знакомого журналиста я видел на стене целый иконостас с авторучками разного вида, размера и цвета. Был у меня и приятель, коллекционировавший наклейки с пивных бутылок, которые ему привозили со всего света, да и я нередко отмачивал их для него под горячей струей из-под крана. А другой соорудил специальные стеллажи, где выставил десятки коньячных бутылок – такого разнообразия их форм, размеров и годов изготовления я больше нигде никогда не видел.

Но я, как и во всем остальном, никогда не был таким же приверженцем одного хобби, и постоянно собирал все разное, то одно, то другое.

Так, мои личные “Великие географические открытия”, начатые марками, еще в юности сменились нумизматикой. Благодаря ней я стал задирать нос от того, что в отличие от многих своих одноклассников мог отличить Гвиану от Гвинеи, Нигер от Нигерии и Словению от Словакии. Правда, поначалу кармашки моего самодельного кляссера заполнялись только старинными российскими и вышедшими на пенсию сталинско-хрущевскими монетами. Но долго мне не удалось удержаться на полях бывшей царской, а потом советской империи, и моя коллекция стала быстро дополняться иностранными раритетами. Почти 1000 медных, оловянных и серебряных кругляшек собрал я за долгие годы и потом даже повез их с собой в эмиграцию.

Другое, правда, более позднее собирательское хобби овладело моим полусвободным от работы временем, когда я начал пахать инженерно-геологическую ниву. Южно-уральские и северо-крымские, колымские и сахалинские, ашхабадские и туркменские, хибинские и корельские недра четвертичных отложений изобильно снабжали меня красивыми кварцитами, пиритами, малахитами, селенитами, ониксами, яшмами и прочими полудрагоценностями Пятой части суши.

К тем же географическим пристрастиям относится и долговременное увлечение сбором настенных масок, выражающее и отражающее картографию моих шатаний по просторам страны Советов, а потом и не только по ней. Начиная с далеких времен московской Преображенки, стены всех моих сменявших друг друга обиталищ с каждым годом все плотнее увешивались керамическими, бронзовыми и деревянными ликами грозных и приветливых, хмурых и веселых божков, домовиков, драконов из Полесья, Башкирии, Камчатки, а позже из Мексики, Перу, Китая, Таиланда, Ямайки и еще неведомо откуда.

В скобках замечу, что это прегрешение излишне многочисленными перечислениями хоть немного можно оправдать старческой потребностью своей памяти поподробнее прикоснуться к тем давним страстным увлечениям.

В развес из бочки

Из всех сладостей детства самое незабываемое – это потрясающей вкусноты мороженое, которое было не “в стаканчики положенное”, а выдаваемое детям моего поколения “в развес”, “прямо из бочки”. Его продавали всегда крупные и толстые тетки в длиннополых драповых пальто, укутанные еще сверху серыми шерстяными платками. Они появлялись обычно по воскресеньям у нас на Преображенской площади с большими жестяными (или алюминиевыми?) бачками-ведрами, наполненными молочным или сливочным (были только эти два вида) мороженым.

В железные цилиндрики разного размера, зависящего от цены, клалась круглая вафля с надписью “Женя”, “Коля”, “Вера”, “Галя”. Потом под нетерпеливым подозрительным взглядом покупателя внутрь вмазывалось стальной столовой ложкой мороженое, сверху оно покрывалось другим вафельным кругляшом и с помощью притаившегося до этого в цилиндре поршня выдавливалось наружу. Естественно, что перед взрослым наблюдателем этого священнодействия мороженое клалось с демонстративным неспешным уплотнением, а для нас, детей, оно смахивалось с ложки рыхлым неровным комком.

Позже мороженое стало продаваться в брикетах, что уже не казалось таким интересным и веселым, как прежде, хотя тоже было очень здорово и вкусно. В этой связи почему-то вспомнился и один досадный случай, который некой черной кляксинкой торчит на светлой картине моего гурмано-десертного детского бытия.

В тот день мы с бабушкой вышли из метро на Комсомольской, чтобы ехать в Загорянку на дачу. У здания Северного вокзала мой взгляд уткнулся в раскладной столик, где стоял голубой ящик с мороженым. Дородная продавщица вытаскивала из него белые кирпичики и с ловкостью циркового фокусника их обменивала на тянувшиеся к ней со всех сторон цветные бумажки.

– Ку-у-пи мне мороженое, ку-у-пи, – заканючил я, потянув бабушку за руку.

– Нет, нет, мы опаздываем на электричку, – отказала она, – следующая будет только через час.

И пришлось, глотая слюну, пройти мимо вожденного лакомства.

Но когда мы приблизились к перрону, то увидели, что, к моему удовольствию, наш поезд уже сдвинулся с места и быстро стал набирать скорость.

– Ну, вот, из-под носа ушел – вздохнула бабушка, – как я боялась, так и получилось.

И она устало опустила на скамейку. Потом бросила на меня, делавшего стойку охотничьей борзой, хитрый взгляд и сказала с улыбкой:

– Вижу, вижу, чего тебе хочется. Ладно, вот возьми денежку, иди, купи. Только не ешь большими кусками, а то горло заболит.

Возле мороженицы по-прежнему толпились сладкоежки. Я подошел поближе и угнезвился около девочки с косичками-сельдерюшками и парня постарше. Как и они, я поднял руку с зажатой в кулаке рублевой ассигнацией. Ждать пришлось очень долго. Наконец продавщица соблагоизволила взглянуть в нашу сторону, забрать деньги, и я с удовольствием разжал занемевшие пальцы. Прошла еще пара томительных минут, и я с завистью увидел, как девочка, осторожно развернув бумажную обертку, погрузила язык в белоснежную сладкую массу, а парень, небрежно разорвав бумагу, жадно вонзился в брикет зубами. Я же ничего не получил и нетерпеливо следил за рукой продавщицы, которая, казалось, и не собиралась ко мне протягиваться. После долгого ожидания я не выдержал, легонько потянул продавщицу за белый нарукавник и проямлил жалким голосом:

– А где же мое мороженое?

Но никакого ответа не получил. Я еще постоял несколько минут, переминаясь с ноги на ногу и с завистью поглядывая на тех счастливиц, которые, торопливо распаковывали и лизали свои лакомства. Наконец я решился еще раз дернуть продавщицу за рукав, теперь немного посильнее. Только тогда она обратила на меня внимание.

– Чего тебе, – буркнула она недовольным голосом.

– Вы же мне мороженое не дали, – в глазах моих по девчачьи предательски что-то защищало.

– Ишь ты какой шустрый – отрезала продавщица. – Давай деньги, получишь мороженое, – и от меня отвернувшись, крикнула: – Кто следующий?

– Вы же сами у меня деньги взяли, – воскликнул я в отчаянии, и услышал:

– Глянь, какой наглый мальчишка, уходи сейчас же отсюда, а то я милицию позову.

От такого отлупа у меня щипание в глазах перешло в мокрую стадию, а мороженица, заметив вопросительно-укоризненные взгляды стоявших рядом взрослых покупателей, уже не так озверело добавила:

– Вот жди, когда все распродадут, посмотрим, если что останется.

Но я ничего ждать не стал и, размазывая слезы по щекам, побежал к бабушке...

Зачем так странно, так несправедливо устроена память? Почему все плохое остается в ней с большими подробностями, а хорошее забывается? Вот ведь ту детскую обиду я помню в деталях, а как конкретно она завершилась, забыл. Скорее всего, моя энергичная бабушка поставила на место ту подлую продавщицу, а может быть, она заплатила за мороженое еще раз. Но вкус у него был совершенно обалденный!

Почти по прямой ассоциации вспомнил я сейчас и другие встретившиеся мне хитроумства шустрых продавцов холода-мороза. В войну в тыловом уральском Златоусте нам, эвакуированным, продавалось так называемое “молоко”, замороженное в тарелках льдышками-дисками, которые при оттаивании превращались в чуть белую водяную муть – можно себе представить, сколько там было жира и прочих присущих молоку ингредиентов.

Уже в брежневские времена на Преображенском рынке в Москве мы покупали мороженую треску, которая при оттаивании заставляла ахнуть от удивления и зарычать от возмущения. Бывшая полненькой, а теперь худосочная тощая рыбка, потеряв свой ледяной привес, оказывалась лежащей в миске, полностью заполненной мутной белесой водой.

А вот еще одно на сей раз южное ноу-хау, тайну которого раскрыл мне как-то в Ташкенте на площади Навои один разговорчивый сосед по очереди за бочковым пивом.

– Настоящим пивком покайфовать можно только с утра, когда его привозят, – объяснил он, – пока лед, который кидают в бочку, еще не растаял. А потом это уже не пиво, а одна вода.

Но в те времена нам, послевоенным малолеткам, никакие взрослые хитрости были неизвестны, непонятны и неинтересны. Для нас быстрее бы погрузить губы в ярко-белую слад-

кую мякоть – вот что было нашим главным – сказочным вожделием. С каким восторгом, с каким наслаждением скользил нетерпеливый язык по ледяной снежной вкуснятине. Сколько бы потом я не ел всяких крем-брюлеевых, ванильных, ореховых, шоколадных, ягодных и прочих сладких мороженных изысков, ничего подобного я больше никогда не испытывал.

Среди конфетных эксклюзивов особое место занимали шоколадные “бомбы”. Это были в основном круглые полые шары, внутри которых иногда оказывались даже маленькие “секретки” – деревянные или тоже шоколадные игрушечные машинки, куколки, солдатики.

А в скучной повседневности моего детского питания царствовала противная манная каша, которая, как считала мама и бабушка, должна была нарастить мяса на мои торчавшие во все стороны кости. Я этого никак не мог понять, так как думал, что для моего умяснения больше подходит мясо курочки или на худой конец овечки. А еще воротило меня от мерзкого пойла, которое называлось рыбьим жиром и которое впахивалось в меня каждый день двумя большими столовыми ложками. Он, видите ли, должен был предотвратить тот самый рахит. Другим отвратным питьем, которым во мне травили глистов, была какая-то вонючая адонисно-ромашково-тыквенная настойка, вызывавшая у меня рвотные позывы.

Противоположностью этим гадостям был прекрасный сладкий “гоголь-моголь”, самое лучшее лечебное кушанье. Он улаживал меня и скрашивал вынужденное домашнее затворничество, которое обрушивали на меня с неизменной частотой повторяемости гнусные враги детских радостей – простуды, гриппы, ангины, кашли и сопли. Со временем, чтобы понаслаждаться тем вкуснейшим из лекарств, я даже стал хитрить, жалуясь на боль в горле, хотя оно еще только слегка саднило или просто першило.

Гоголем-моголем называлась роскошная, необыкновенная, сказочная масса, которую мама чайной ложкой тщательно перемешивала и растирала в старинной бабушкиной фарфоровой чашке. Предвкушая удовольствие, в нетерпеливом ожидании я смотрел, как быстрым ударом ножа она разбивала сырое куриное яйцо, отделяла от него желток, выливая в чашку, потом клала туда кусок сливочного масла, насыпала сахарный песок и какао-порошок “Золотой ярлык”. Это была настоящая пища богов, особенно, как я позже выяснил, врачевателя Асклепия, сына красавца бога Аполлона.

Вообще, считалось, что мне, слишком худому и хилому, следует ограничить свою неугодность, перестать носиться, как угорелому, и больше сидеть за чтением полезных книжек и за пианино, укрепляя пальцы и развивая слух музыкальными гаммами. Но моей усидчивости хватало только на нудные школьные часы, остальное время отдавалось двору – салочкам с колдунчинами, пряткам, прыгалкам, городкам и другим шумным играм, пришедшим к нам из подмосковских деревень, стремительно опустошавшихся набравшими размах индустриализацией и коллективизацией.

* * *

В 1940 году после заключения пресловутого Пакта Рибентропа-Молотова из Германии в Москву приехали “по обмену опытом” немецкие специалисты-сталелитейщики. От этого события у нас в доме остался набор столовых ножей и вилок с выгравированными на них двумя пляшущими человечками, логотипом Рура. Еще в юности я почему-то думал, что это очень ценное столовое серебро, хранил его в отдельной упаковке и в повседневный обиход не пускал. Я даже привез его в Америку. На самом же деле, он оказался простым совсем потемневшим от времени железом, лишь чуть-чуть улучшенным какими-то никелевохромовыми присадками. По-видимому, в то время германскому Рейху было не к чему возить Советам дорогие изделия и, тем более, показывать некие свои разработки, важные для военной техники.

Мой папа работал в то время в одном из ведущих “почтовых ящиков”, как тогда назывались “номерные” закрытые учреждения оборонного назначения, названия и адреса кото-

рых скрывались за таинственными цифрами (номерами) и аббревиатурами. Так, его заведение обозначалось ТСПИ-6” (Государственный Специальный Проектный Институт № 6). Отец был довольно успешным инженером-металургом и, видимо, поэтому его неоднократно приглашали на всякие важные совещания, кажется, однажды он побывал даже у знаменитого промышленного наркома С.Орджоникидзе.

С одного такого, на сей раз немецко-советского, совещания, проходившего по вопросам технологии производства легированной низкоуглеродистой стали, папа принес как-то домой подаренный ему немцами красивый цанговый карандаш. Он лежал у него на письменном столе и манил меня своим ярким стальным блеском. Ну, конечно, я не удержался и днем, когда никого дома не было, решил выяснить, как выдвигается грифель из этого диковинного немецкого карандаша и что за пружинка у него внутри.

Грифель сломался сразу, а пружинка вылетела через пару минут. Пришедшая с работы мама заохала-заохала, безуспешно пыталась карандаш починить, потом сказала: “Вот уж тебе теперь достанется”.

Услышав в коридоре шаги отца, я страшно испугался и залез под широкую родительскую тахту, стоящую у стены. Но к моей радости никакой взбучки не последовало, и маме с папой долго пришлось меня уговаривать вылезти из моего убежища, обещая, что порка мне не грозит. Потом я, как обычно, забрался под длинный байковый халат, в который отец всегда облачался, приходя с работы, и весь вечер ходил с ним по квартире из угла в угол.

Преображение Преображенки

Подобно Жюлю Верну, почти никогда не покидавшему свой жилой квартал, я всю свою московскую жизнь просуществовал в одном месте. Хотя, в отличие от знаменитого писателя-фантаста, меридианы-параллели планеты мне довелось пересекать не в каких-то виртуальных наutilusах, воздушных шарах и пушечных снарядах, а в реальных плацкартных вагонах, на узких сидениях ИЛ-ов и в пыльных кабинках узиков.

Место же моей малой родины весьма примечательное. **Преображенка** – как не удивиться долгой драматической судьбе этого древнего куска земли, лежащего в центре нынешнего северо-восточного округа российской столицы. Его история необычна и в то же время типична для большинства плотно населенных уголков России и, возможно, вообще для стран восточной Европы.

По некоторым косвенным данным именно здесь завоеватель Москвы хан Тохтамыш 24 августа 1382 года разбил свой шатер. А через два дня, когда знаменитый князь Дмитрий Донской, герой той самой полумифической Куликовской битвы, позорно сбежал, бросив жену, в Кострому, татарские конники захватили, разграбили и сожгли город.

Это предательство будущего Великого князя Дмитрия особенно прискорбно, так как именно в Преображенском он провел свое детство – здесь на берегу Черкизовского (Архирейского) пруда тогда располагалась летняя резиденция весьма влиятельного митрополита Алексия I, который был его учителем и воспитателем. Нынешний же бизнес-патриарх всея Руси предприимчивый Кирилл, на месте сгоревшего при странных обстоятельствах старинного деревянного здания в начале 2000-тысячных годов возвел себе роскошные хоромы псевдорусского лубочного стиля.

Но населенным пунктом с названием Преображенское это место стало лишь при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем). В 1657 году на берегу Яузы он построил дворец, получивший свое имя по возведенной тогда же церкви Преображения Господнего.

Знаменит московский микромир моего детства еще и тем, что первый в истории русский профессиональный театр под названием “Комедийная хоромина” начал давать свои представления в 1672 году здесь же в Преображенском дворце.

Дальнейшее развитие село Преображенское получило при Петре I. Здесь будущий царь, еще не став царем, водил свои Потешные полки, и отсюда с друзьями и родственниками Нарышкиными ему нередко приходилось убегать в Сокольнический лес, где он спасался от гнева своей яркой противницы властной сестры-царицы Софьи, правившей страной из московского Кремля.

Позже, одолев сестрицу и отправив ее в монастырскую опалу, воцаривший в России Петр превратил ту свою малую родину в резиденцию страшной черной охранки. После стрелецкого бунта 1698 года царь сделал “Преображенский приказ” одним из дальних предтеч ежовско-бериевского НКВД. Его глава князь-кесарь Федор Ромодановский пыточными дыбками, раскаленными клещами и огненными щипцами строгого дознания вытягивал ложные признания и оговоры из не повинившихся Петру бояр Милославских и всех прочих сторонников Софьи с ее московскими стрельцами. На Преображенской же площади стрельцам, солдатам старого войска, рубили на плахе головы и вешали на столбах в назидание всем последующим ослушникам нововведений Петра I.

В будущем, восстанавливая свою раннепетровскую нелояльность к действующей власти, Преображенка круто повернулась боком и к официальной Церкви. Не случайно фоном для персонажа своей картины крамолки “Боярыни Морозовой” Суриков избрал краснокирпичные стены именно Преображенского старообрядческого православного монастыря. Он просуществовал вплоть до революции, и поныне на бывшей его территории стоит одна из немногих церквей Старого обряда.

* * *

Надо отметить еще одну яркую особенность моей дорогой Преображенки – ее непреходящую рыночную торгово-купеческую сущность, сохранявшуюся даже в самые строгие, самые упертые годы сталинско-хрущевско-брежневского социализма. У стен бывшего монастыря, несмотря на неоднократные разгоны и запреты, много десятилетий подряд кипел бурными базарными страстями продуктово-крестьянский и барахольновещевой Преображенский рынок.

Такой же полу-капиталистической, “воровской”, жизнью до поры до времени жила и знаменитая когда-то “Преображенская яма”, старый овраг – место, бывшее одним из главных гнезд торговопреступного мира Москвы. Еще до моего рождения его ликвидировали, овраг засыпали, и на месте ее многочисленных лавок, хибар, мазанок, хаз и малин пролег широкий проспект – Большая Черкизовская улица, где, кстати, стоит и восьмиэтажный дом с моей московской квартирой. По этой магистрали, являющейся продолжением Щелковского шоссе, из подмосковного Звездного городка в свое время ехали в Кремль торжественные кортежи с Юрием Гагариным, Германом Титовым и другими знаменитыми героями космических одиссей.

Неистребимый торгово-криминальный дух особенно высоко взмыл над нашим районом в начале 90-х, когда здесь широко раскинулся всероссийский приснопамятный оптовый рынок Черкизон. Долгие годы тысячи “челноков” с пузатыми тяжелыми баулами, а потом и плотно набитые кузова траков и фур обычно ночью грузили в необъятные чрева базара-монстра нелегальные “заморские” товары. Под кожу сделанные полимерные куртки, пальто, ложнохлопковые платья, костюмы, рубашки, тишорты, поддельно-кожаные туфли, ботинки, сапоги миллионами штук громоздились под дощатыми крышами бесчисленных павильонов, палаток, лотков. Все это шилось, кроилось, клепалось в каких-то таинственных подпольных мастерских, фабричках и на всех товарах красовались липовые лейблы “Jeans”, “Bata”, “Zilli”, “Century” “Levi” и

другие. Цены были пустяковые, поэтому эти подделки успешно расходились среди москвичей и гостей столицы.

Черкизон просуществовал вплоть конца первого десятилетия XXI века и с большим скандалом был закрыт новым московским мэром С.Собяниным, сменившим на этом посту предыдущего вора-пахана Ю.Лужкова.

* * *

А в начале XX столетия Преображенка начала стремительно приобретать дымный облик промышленного предместья Москвы. Десятки прядильных, красильных, суконных, ткацких текстильных фабрик возникли на берегах реки Хапиловки и Яузы. В период “сталинской индустриализации” эта специфика района значительно выросла.

Не могу удержаться, чтобы не привести описание Преображенки 30-х годов, которое дал в своем талантливо написанном романе “Я ищу детство” мой школьный товарищ Валерий Осипов.

“Вот такая смешанная и даже смешная получилась картина. Преображенский монастырь захватили и жили в нем рабочие. В центре монастырских зданий (новые обитатели которых любили и пошуметь, и выпить, и подраться) молились своему древнему, дониконианскому богу дремучие староверы. У стен монастыря с одной стороны бойко шумел Преображенский рынок, с другой – активно вела медицинскую пропаганду туберкулезная больница, с третьей – печально качало листвой Преображенское кладбище (со своей и ныне действующей церковью), с четвертой – тянулась Черкизовская яма, населенная рыночными спекулянтами и ворьем, с пятой – гудел колоколами Бого-явленский храм, а в двух шагах от храма, на берегу Яузы, поднимались кварталы будущего швейного объединения “Красная заря”, а за кладбищем дымилось и пыхтело опять что-то ткацкое и текстильное (так прямо и называлась одна из самых больших улиц этих мест – Ткацкая). Вот такая мешанина образовалась на месте бывшего царского села Петра I Преображенского”.

Не могу не добавить к этому и мои собственные воспоминания, относящиеся к этому времени. Первой водной поверхностью увиденной мною, будущим гидротехником, был полноводный Хапиловский пруд, где у причала стояли прогулочные плоскодонки лодочной станции. А его берег зеленел большим сквером, разбитым на месте старой городской свалки, засыпанной добровольцами-комсомольцами профсоюза рабочих расположенного неподалеку Электролампового завода.

На этом сквере меня, туго запеленатого в бумазейные и фланелевые пеленки и подгузники, то мама, то нянька катали по гаревым дорожкам в моссельпромвской детской коляске. Здесь же делал я свои первые неуверенные шаги, а потом гонял надувной резиновый мяч с соседскими ребятами.

После войны пруд был закопан, а позже и сама речка Хапиловка, приток Яузы, потекла по бетонной трубе, над которой быстро выросли хрущевские многоэтажки. А на бывшей Введенской площади (потом имени Журавлева, какого-то партийного функционера) вместо снежной одноименной церкви рядом с Электрозаводом вознеслось четырех-колонное клубное здание, нынешний архитектурный памятник сталинского соц-неоклассицизма. После своего изначального предназначения оно поочередно стало принадлежать сначала театру “Имени Моссовета”, потом “Телевизионному театру”, а затем снова клубу завода, уже обозначавшегося аббревиатурой МЭЛЗ (Московский электроламповый завод). Кто еще будет его хозяином? Вопрос.

Причуды архитектуры

Не столько из глубин моего инженерно-строительного образования, сколько с высот многодесятилетнего возраста, мне четко высвечивается старая истина: ничто так точно, образно и наглядно не отражает ход времен, как архитектура. “Застывшая в камне история” – вовсе не расхожий штамп, а строгая теорема, постоянно доказываемая сменой общественного строя, режима власти, предпочтений культуры, переоценкой ценностей. Например, пирамиды фараонов, Колизей Рима, дворцы французских Людовиков и высотки сталинской Москвы так же точно отразили эпохи тоталитаризма, как башни Эйфеля, Шухова, небоскребы Нью-Йорка, Чикаго и каркасы Карбюэзе выразили начало индустриальной эры.

Преображенская площадь на глазах одного моего поколения развернула свои каменные страницы многотомной исторической энциклопедии. В раннем детстве я ходил по ней мимо двухэтажных купеческих особняков, ставших после революции продуктовыми и москательными магазинами, заходил с мамой в булочную, сапожную мастерскую, пошивочное ателье. Мальчишкой я глазел на сцены драк возле основанного когда-то братьями Звездиными ресторана “Звездочка”, возле которого после войны бились костылями до первой крови крепко поддатые ветераны Великой Отечественной. В мои более поздние школьные годы рядом с ветшавшими строениями “проклятого царского прошлого” встали пятиэтажные жилые дома конструктивистского вида, напротив них призывно горели афиши нашего придворного театра Орион. А рядом по праздникам звонила одноглавая Богоявленская церквушка.

Потом колокола смолкли и “заговорили пушки”. Преображенскую площадь почти целиком захватил некий “Почтовый ящик” с крупным научно-исследовательским институтом, большим конструкторским бюро и заводом по производству опытных изделий. На нем до радикулитной боли в спине и глаукомной рези в глазах вкальвали конструкторы 1-ой, 2-ой и 3-ей категории, старшие инженеры и просто инженеры, начальники отделов и секторов, завлабы, младшие и старшие научные сотрудники, рабочие-монтажники и электрики. Все они принадлежали многотысячной дивизии бойцов тыла Холодной войны, на пике которой и оккупировал Преображенку тот почтовый ящик. Сначала он обозначался каким-то простым номером, а позже стал для маскировки “Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи” (НИИДАР). Под этим камуфляжным прикрытием решалась одна из главных технологических военно-стратегических задач – перехват низко летящих целей, не улавливаемых радаром того времени.

Для ее решения были снесены десятки домов, и гигантский научно-производственный спрут поглотил сразу несколько кварталов частной застройки. Позже, чтобы не маячила перед парадным входом в то военно-оборонное святилище, пошла под бульдозер стоявшая на площади с XIX века поместная Богоявленская церковь.

Но вот великий перелом истории свалил страну Советов, и вместо лучезарного лика коммунизма перед народом разверзся “звериный оскал капитализма”. В его прожорливую пасть с Преображенской площади полетело все, что раньше было ценно и значимо: дореволюционные особняки, сталинские многоэтажки, панельные хрущевки. Исчез ресторан Звездочка, кинотеатр Орион, зачах, пригнулся, опустел бывший всемогущий “НИИДАР”. Его еще недавно наглухо закрытые режимные недра оккупировали всевозможные “ООО”, разношерстные торговые точки, многочисленные кафе, ресторанчики, аптеки – шустрые делатели “быстрых денег”. А вслед за ними чуть позже на месте проклятого советского прошлого вознеслись высоко к небу богато облицованные гранитом каменные громады офисных билдингов, элитно-жилые комплексы и торгово-развлекательные центры. То были зримые приметы XXI века.

Стала явью и еще одна особенность агрессии нового времени – нарочито тихое, но непомерно активное проникновение РПЦ (русской православной церкви) в жизнь Преображенки. Меня очень удивило, что вместо скромного пяточка, на котором до волонтариста Хрущева стояла та самая Богоявленская церковка, теперь для ее восстановления была выделена обширная территория, занимающая почти всю длину зданий “НИИДАР”, а. Теперь именно она стала главной архитектурной доминантой всей Преображенской площади.

А затем начал серьезно обсуждаться и вопрос о возвращении РПЦ зданий бывшего Преображенского монастыря с ликвидацией десятилетиями существующего рядом продуктового рынка. Вот так почти через столетие история пытается возвратиться “на круги своя”. Возможно ли это? А почему бы и нет?

* * *

Неукротимый бег времени четко отразился и на доме № 6 по Суворовской улице, моем первом на этом свете пристанище. Вот его история.

В 1929 году с подачи своего друга и коллеги Юзи Шехтера мой дедушка переехал из Ленинграда в столицу, где вступил в должность главного инженера “Резино-ткацкой фабрики № 2”. Ему предоставили отдельную трехкомнатную квартиру на втором этаже ведомственного дома, стоявшего вплотную к самой фабрике.

До революции она принадлежала управляющему и согласно стандартам тех благословенных царских времен имела отдельную ванную комнату, кухню, уборную, что для тогдашних строителей социализма, живших в тесных коммуналках, было несбыточной мечтой. Кроме того, у нашей квартиры было два самостоятельных входа, объединенных большой лестничной площадкой.

Высокие белые потолки украшала нежно-бежевая алебастровая лепнина, а на угловом стыке комнат возвышался отделанный метлахской плиткой зеленовато-синий камин. Самая большая комната, столовая, имела широкие так называемые итальянские трехстворчатые окна, выходившие на улицу. Две другие комнаты, спальни, смотрели во двор более мелкими оконными проемами.

В середине 30-х годов все стало меняться – тот самый коммунальный социализм настиг и нашу семью. В порядке объявленного властью так называемого “самоуплотнения” у нас добровольно-принудительно (к тому времени дед уже не был главным инженером) отобрали ванную комнату. Ее сделали жилой и поселили в ней семью фабкомовского профработника, пьяницу и дебошира.

Соответственно этому кухня и уборная стали общими, грязными, склизкими, вонючими. Мыться, как и тем же фабкомовцам, пришлось ходить в далеко находившуюся общественную баню “на 50 шаек”. Камин превратился в обычную печку, во дворе нам выделили сарай, куда с дровяного склада на Семеновской мы с мамой возили на санках дрова. Чаще всего это были длинные толстые нарезки-сардельки древесных стволов, которые надо было еще пилить и колоть.

Постепенно, особенно интенсивно после войны, наш дом стал фактически превращаться в большое фабричное общежитие. К началу 50-х годов старых довоенных семей осталось совсем немного, в большую часть квартир хлынула очередная волна подмосковных крестьян, главным образом женщин, становившихся ткачихами, намотщицами, веретенщицами. Резино-ткацкая фабрика, продолжая и углубляя специфику военного времени, стала в еще большем масштабе выпускать погоны, орденские ленты и прочие знаки советского милитаризма, которые почти свели на нет прежний выпуск резинок для трусов, чулков и подтяжек.

А осенью 1958 года начальство фабрики затеяло полную перестройку своего жилого фонда. Причем, поначалу без перерыва его использования. Для нас это вылилось в настоящую

катастрофу – крыша над головой поехала в буквальном смысле, потолки стали протекать, стены покрылись плесенью, зимой в комнатах температура опускалась ниже 15 градусов. К старому дому примкнулся новый, закрывший пару окон в нашей квартире.

Наконец, фабрика решила перестроить наш дом совсем уж капитально. Из него выселили всех жильцов и, оставив от ветхозаветной дореволюционной истории лишь фундамент и стены, превратили старый добрый двухэтажный особняк в четырехэтажную многоквартирную мелкокомнатную коробку. На время этой реконструкции нас переселили в некое временное жилье – предназначенный к слому деревянный дом у Семеновской площади. Загаженная общая на весь дом уборная и ржавые умывальные раковины, которыми пользовались все соседи, проваливающийся пол, облезлые стены с оборванными обоями, перекошенные двери и плохо закрывавшиеся окна с полуразбитыми стеклами – никогда я больше не жил в таких мерзких условиях. Не случайно не такой уж старый наш пес Джек сразу же заразился здесь чумкой и ушел в мир иной.

Потом в полностью перекроенном доме нам на все наши три семьи дали небольшую четырехкомнатную квартиру. А я, дурашка, по молодости, беспечности и недомыслию не воспользовался жировкой, оставленной мне отцом после его ухода ко второй жене. Хотя ведь мог получить себе отдельную квартиру. Но об этой моей глупости можно прочитать в части III этой книги.

* * *

Я брожу по дорогим мне, знакомым и близким переулкам, закоулкам своего детства, вспоминаю, ностальгирую, шаркаю артритными ногами по каменным ступеням далекого прошлого, до рези в глазах грущу по навсегда безвозвратно ушедшему времени.

И только одно меня немного утешает. В прослеживании бесчисленных перемен моего так изменившегося родного места, я не без удовольствия отмечаю, что все перелицовки старой Преображенки, слава богу, не коснулись ее названий (кстати, в отличие от остальной Москвы). С давних еще петровских времен здесь сохранились имена улиц 9-ой роты, Потешной, Матросской тишины. На этой тогдашней окраине старой Москвы играл в живых “солдатики” будущий Петя Великий.

А вот родная Суворовская, улица моего детства, никакого отпечатка военного прошлого России не носит и, вопреки своему имени, к знаменитому державному генералиссимусу А.В. Суворову отношения не имеет. Топонимика оказалась вполне заурядной, все очень просто – в конце XVIII столетия на этой улице жила некая домовладелица премьер-майорша Суворова (толи, Анна Ивановна, толи Анна Васильевна), ее фамилия здесь и увековечена. Такое же происхождение имеет и название соседней Бужениновской улицы, застроенной примерно в то же время неким М.Божениновым, строителем и Преображенского дворца.

Побольше известно о происхождении названия другой моей малой родины – улицы Черкизовской, на которой я провел большую треть своей жизни. По этому поводу вот что пишет интернетовская Википедия:

"Название "Черкизово", по версии академика С. Б. Веселовского (1876–1952), происходит от ордынского царевича Серкиза, после крещения ставшего Иваном Серкизовым:

"По государеву родословцу при великом князе Дмитрие Донском выехал из Золотой Орды царевич Серкиз и на Москве крестился. Имя Серкиз, по-видимому, испорченное имя армяно-григорианской церкви Саркиз. Сын Серкиза Андрей Иванович Серкизов на Куликовом поле был воеводой Коломенского (в некоторых летописях Переяславского полка и был убит в бою Мамаем, с которым, может быть, у его отца были старые счеты. У

Андрея Ивановича Серкизова (иногда – Черкизова) был сын Федор, носивший прозвище Старко, и от него пошла боярская фамилия Старковых, угасшая в конце XVI века”.

Иван Серкизов владел обширными земельными владениями – возможно, купленными на ордынские богатства или пожалованными от князя. Среди вотчин Ивана Серкизова было и подмосковное село, получившее впоследствии название Черкизово.

Иван Серкизов продал село другому выходцу из Золотой Орды, крещёному татарину Илье Озакову. Но тот владел Черкизовым недолго и продал его митрополиту Алексею, который завещал Чудову монастырю многочисленные вотчины, в их числе было и село Черкизово. Но через 4 века в 1764 году монастырские земли вместе с проживавшими на них крестьянами были конфискованы в казну”.

Впрочем, зная, как все не вечно под луной, можно усомниться в долговечности и этой еще живущей особенности древней Преображенки. Настанут новые времена, иные вкусы, настроения, идеи овладеют массами, другие чиновничьи задницы усядутся в кресла кабинетов нынешней окружной Управы, и тогда своенравная смена имен вполне может настичь улицы, площади и перекрестки моего родного района.



Глава 2

Самое страшное десятилетие XX века

Грозный жизни перелом

Утро 22 июня 1941 года застало нас с мамой на даче в Загорянке. Мы сидели за столом на террасе, где я умучивал полуостывшую манную кашу, когда вдруг прибежал соседский мальчик Вольтик и, позвав меня на улицу играть, с восторгом сообщил, что по словам его папы сегодня утром началась настоящая война с настоящими немцами. Вместо радости от такой замечательной новости моя мама странным для меня образом почему-то очень заволновалась и к моему большому неудовольствию засобиравшись срочно с дачи уезжать.

Через неделю в Москве было введено ночное затемнение, означавшее плотное занавешивание окон, сквозь которые свет от лампочек не должен был проникать на улицу (виновнику грозила тюрьма или даже расстрел). Вслед за этим поступило указание об укреплении оконных стекол, и я, встав на табуретку, помогал взрослым клеивать их крест-накрест длинными полосками газетной бумаги.

А потом как-то поздно вечером черная тарелка-радиоточка у нас в коридоре взорвалась оглушительным ревом сирены и взволнованным окриком “Воздушная тревога!!”. Похватав верхнюю одежду, подушки и одеяла, мы спустились вместе с соседями в пыльный полутемный подвал, где было тесно от водопроводных труб и электрических кабелей. В тот раз воспользоваться спальными принадлежностями нам не пришлось, так как довольно скоро та же громогласная сирена возвестила об окончании воздушной тревоги.

На следующий день с двумя моими дворовыми приятелями залез на крышу и увидел там ящики с песком.

– Это чтобы зажигалки гасить, – объяснил старший из мальчишек, – здесь мой папка вчерась дежурил, говорил, когда она на крышу упадет, ее рукой за хвост хватают и в песок. А вот от фугасок, говорит, так не спастись, они тут же рвутся.

Наверно, не менее пары недель, как и в те первые дни войны, мое детское восприятие тех начальных тревожных предвестий будущей большой беды было радужным до поросычей глупости. Мне они представлялись увлекательным продолжением обычных тогдашних игр в “красных-белых” и в “солдатики”, которые тогда занимали в моей мальчишеской жизни большое место.

Но очень скоро война дала себя почувствовать более основательно. Уже 13 июля, перетаскив в склад, созданный на чердаке нашего дома, все ценные вещи и заперев на ключ квартиру, мы с дедушкиным Гипроэлектропромом отправились в эвакуацию. Поезд на восток ехал долго, пропускал грузовые, военные и так называемые “литерные” поезда с начальством, а больше всего стоял где-то на запасных путях. Удачей было, если эти многочасовые, а то и суточные остановки оказывались недалеко от железнодорожных станций, где можно было раздобыть кипятка, за которым мы с чайниками, бидонами и страхом отстать от поезда быстрым аллюром неслись к стоявшим на перронах электрическим титанам.

Вот так катилось колесо истории того военного времени, слава Богу, что не попали мы под него, и оно нас не раздавило.

Наконец наш поезд прибыл в Куйбышев. Он встретил нас жарой, духотой и ужасной крупнозернистой пылью, которая даже при самом небольшом порыве ветра забивалась в рот, уши, саднила горло, лезла за шиворот рубашки. Несколько дней мы провели на вокзале, где

уже начали скапливаться толпы беженцев и эвакуированных (можно себе представить, каким вавилоном стало это место позже, когда пошел третий и четвертый месяц войны). Женщины, старики, дети вповалку спали на вещевых мешках, баулах и чемоданах, здесь же ели, пили и, чуть отойдя в сторону, отправляли нужду. Все вокруг было пропитано грязью и вонью.

Не менее тягостное впечатление мусорной помойки произвела на нас и выделенная нам по “распределению” комната в двухкомнатной квартире, располагавшейся на улице Водников в доме № 22 (почему-то запомнился не только этот адрес, но и название расположенной неподалеку горбатой Хлебной площади с облезлой штукатуркой круглого элеватора).

Квартира, куда нас поселили, принадлежала семье, которая выехала на лето куда-то за город. Пожилые муж и жена, оба врачи, евреи, по-видимому, не отличались излишней любовью к чистоте. Уехав из дома, они оставили на столе грязную посуду и объедки еды, среди которых особым успехом у целого сонма мух пользовались невыеденные до конца арбузные корки.

Однако, когда наши хозяева, жилплощадь которых подверглась давно опробованному советской властью “уплотнению”, вернулись домой, то оказалось, что они очень приятные доброжелательные и участливые люди. Бабушка нашла с ними много общих интересов и, когда им хотелось сообщить друг другу нечто, не предназначенное для чужих ушей, они в своих нескончаемых беседах переходили с русского на таинственную еврейско-французскую смесь, которой, как выяснилось, они неплохо владели.

Именно тогда я впервые познал смешливую мудрость прелестных фольклорных идиом, подаренных идишу еврейскими местечками. “*Труг гезунтерейт и цурас гезунтерейт*”, – говорила бабушка, натягивая мне на голову купленную по случаю на рынке поношенную панамку, что означало: “носи на здоровье и порви на здоровье”. Или, проводив укоризненным взглядом, встретившуюся на улице неразговорчивую соседку, ворчала “*колтер тухес*”, то есть, “холодная попа”. И каждый раз, когда случалось что-нибудь непредвиденное плохое, она утешала: “*шейне рейне капуре*”, мол “ерунда, не стоит волнений”, в другом варианте это звучало “*листе маисе с*” или “*а зохен вей*” – “ничего особенного, пустые хлопоты”. А еще “*аицен паровоз*” – “подумаешь, какое дело”, “*киш ин тухес ен форбайс мит блохес*” – “поцелуй попу и закуси блохой” (здорово-то ведь как!), “*мишугене коп*” – “глупая голова”, и многие другие.

Я плотно сдружился с племянником наших хозяев Мариком, жившим неподалеку и часто здесь бывавшим. Это был четырнадцатилетний очень умный и начитанный очкарик, производивший на меня большое впечатление обширными знаниями географии и истории, особенно еврейской, о которой я тогда не имел ни малейшего понятия. Благодаря ему я проникся почтением и любовью к этому гонимому народу.

Дружба с просвещавшим меня хозяйским племянником оборвалась до обидности глупо и позорно. Виной был один мой дурацкий хулиганский поступок. По просьбе своей тети Марик как-то взялся сменить на кухне перегоревшую лампочку, для чего влез ногами на табуретку и вытянул руки к потолку. Поскольку стояла летняя полудневная жара, то он был в одних трусах, у которых, по-видимому, ослабла резинка, и они опасно низко опустились, с трудом удерживаясь марикиными худыми узкими бедрами.

Лишенный общения с новым другом, я долго ходил вокруг да около, скучал и завидовал, что вот он, как почти взрослый, может “починить свет”, а я, малолетка, к этому не могу быть допущенным хотя бы потому, что не только не достану до потолка, но даже до него не допрыгну. И тут вдруг на меня нашел какой-то идиотский бзиг – совсем неожиданно, даже для самого себя, я подбежал к стоявшему с беззащитно задранными вверх руками Марику и быстрым резким рывком спустил с него трусы.

Можно ли оправдать эту проделку моим 9-тилетним возрастом? Нет и нет, им нельзя даже ее объяснить. Конечно, и Марик не смог принять мою дурацкую выходку просто, как нелепую мальчишескую шалость, и с тех пор перестал смотреть в мою сторону.

* * *

Осенью 1941 года я с мамой отправился к папе в уральский город Златоуст, где он в переносном и буквальном смысле ковал оружие для Красной армии. В отличие от пушек и пулеметов это было, так называемое, холодное оружие, то-есть, сабли, штыки, кинжалы, кортики.

Мы снова мучительно долго тащились на восток, наш вагон каждый раз отцепляли от железнодорожного состава, отводили на запасной путь, где мы целыми сутками томились в ожидании очередного заветного “прикрепления”. Наконец, на какой-то очередной стоянке на мою хорошенькую маму положил глаз некий администратор киевского цирка, возившего своих артистов с гастрольями по уральским городам. Он договорился о нашем переводе в их “спецвагон”, после чего мы довольно быстро добрались до Златоуста.

При подъезде к городу цирковой администратор рассказал к месту местный анекдот. На перроне пригородной железнодорожной станции приезжий спрашивает у ждущей поезда старушки:

- Что за речку мы переехали?
- Ай, – отвечает та.
- Как река-то называется?
- Ай.
- Ты что, бабка, плохо слышишь?
- А ты что глухой? Ай – тебе говорят.

И на самом деле наш поезд проехал по мосту через реку по имени Ай, впадающей в одноименное озеро, где в первый же день меня впечатлил стоявший на берегу большой ярко раскрашенный деревянный столб, увенчанный большой бородатой головой великомученика преподобного святого Златоуста. А рядом с озером в овальной межгорной впадине вытянулись цепочки типовых барачного типа домов, расположенных вокруг Златоустовского металлургического комбината – главного градообразующего Златоустовского предприятия.

Нас поселили в городской гостинице, где в одной комнате с двумя окнами, кроме нас с мамой и папой, разместились еще семья тех самых артистов цирка. С их мальчиком, умевшим показывать забавные фокусы и кувыряться через голову, я некоторое время дружил.

Через десятки лет, будучи в командировке в Челябинске, я заехал в Златоуст и нашел ту самую гостиницу. Поднялся на 2-ой этаж и увидел комнату, где мы жили. Какой же она стала маленькой! Неужели на самом деле в ней тогда мирно умещались две разные жизни, два чужих быта, шесть больших и маленьких людей, которые на глазах (и ушах) друг друга должны были есть, пить, умываться, заниматься любовью?

К зиме нам дали комнату в новом доме, в ней мы жили, варили на керосинке суп и кашу, в ней я готовил уроки, и здесь же у стены высилась поленница дров, в которой, как выяснилось, жила огромная серая крыса. Первый раз я увидел ее, когда был дома один. Мне трудно поддавались слагаемые и делимые, которые без большого рвения перемещались на страницу тетрадки в клеточку из учебника по арифметике. Мои глаза больше шныряли за окошко, где дворовые мальчишки кидались друг в друга грязно-белыми снежками и сине-зелеными ледышками. Вдруг боковое зрение заставило меня вздрогнуть и сбежиться от ужаса – из-под верхнего ряда дровяных поленьев вылезло страшное хвостатоусатое чудовище. Не обращая на меня никакого внимания, оно неторопливо дошло до угла, постояло немного, потом скрылось в своей деревянной норе. Я в панике выскочил из-за стола, дрожа всем телом влез в пальто, натянул на ноги валенки и, схватив ушанку, выскочил на улицу.

Вечером, придя домой с работы, папа переложил дрова в коридор, после чего с мерзкой крысой я больше не встречался.

То военное время было очень голодное, с рынка мама в обмен на свои московские платья, кофточки, юбки и украшения приносила в виде кусков льда молоко – можно представить сколько в нем было самого молока, и какова была его жирность, если оно так замерзло. Хлеб делили по методу, придуманному еще бабушкой в Куйбышеве. Буханку измеряли веревочкой, ее складывали пополам и хлеб разрезали, потом снова еще раз складывали и снова разрезали. Таким путем одной буханки хватало на целых 4 дня.

Большой “*амецией*”, как называла это по-идишски бабушка, была какавела – таким немного смешным, но красивым именем обозначалась шелуха, остававшаяся от обработки какао-зерен. Эти ошметки-очистки, отходы производства, нелегально выносились работниками местной кондитерской фабрики и продавались ими из-под полы в подъездах соседних домов. Какавела заваривалась кипятком по нескольку раз, и первая заварка казалась поистине волшебным напитком, особенно, если она еще и сдабривалась хотя бы одной таблеткой сахара, которую бабушка с лукавой улыбкой торжественно извлекал откуда-то из своих буфетных тайников.

В Златоусте от голода нашу семью немного выручала выдаваемая по карточкам в рабочей столовой завода казенная подкормка – УП и УДП (Усиленное Дополнительное Питание) – чаще всего это была одна лишь каша, имевшая лошадиную кличку “Иго-го”, то-есть, овсяная. Ее обычно на месте не ели, а несли домой, детям.

По праздникам иногда заводское начальство баловало своих работников какой-нибудь изысканной едальной премией. Вот, например, к 7 ноября маму однажды наградили пирожком с мясом (с “котятами”, как тогда шутили). Она принесла его домой и утром, уходя на работу, воспитательнопедагогично сказала с хитрой улыбкой:

– Придешь из школы, бьешь половину, а другую оставь мне.

Перед тем, как взяться за уроки, я по бабушкиному способу ровно разрезал ножом пирожок и сел половину. Потом, сделав домашнее задание по арифметике, подумал: “Мама же велела разделить пополам...” Взял нож и уполовинил пирожковую половину. После выполнения упражнений по письму я, снова подумав, что беру половинку, отсек от пирожка еще. Потом опять повторил эту операцию. Так продолжалось до тех пор, пока от бывшего роскошества остался маленький кусочек, ничем не напоминавший о каких либо признаках мясной начинки. И я подумал: “Что же тут оставлять-то?” И, естественно, поспешил уничтожить позорное свидетельство своей невоздержанности.

От голодного истощения нас, детишек, спасал еще и небольшой ломтик хлеба (позже с кусочком сахара), выдававшегося в школе на большой переменке. Кстати, многие мои одноклассники, местные жители, к моему удивлению, никогда ни о каких мандаринах, апельсинах, абрикосах даже не слышали и я, столичная птичка, с фасоном показывал им их на картинках букваря.

Златоустовская школа стала моей первой в жизни площадкой столкновения с дискриминационной несправедливостью. Заключалась она в том, что почти все в нашем классе уже были пионерами, а меня этим завидным званием никак не удостоивали. Учителка сначала говорила, что я новенький и должен пройти какой-то испытательный срок, потом ссылалась на мои тройки по правописанию и физкультуре, потом еще на что-то. Я очень из-за этого переживал, нервничал, долго не убирал обиду из головы (из сердца?). Только в 3-ей четверти после прихода в школу моей мамы меня все-таки приняли в пионеры, и я с гордостью повязал на шею заветный красный галстук.

Тревожный рев сирен

В 1943 году мы с мамой из Златоуста ненадолго снова приехали в Куйбышев и уже оттуда все вместе вернулись в Москву. В столице еще стоял густой мрачный дух войны – действовали строгие правила вечернего затемнения, трамваи и автобусы ходили с большими перерывами, черными пятнами-дынями висели на ночном небе шеренги заградительных стратостатов, и оглушительный рев сирен учебных тревог время от времени сотрясал стекла в окнах и грозовым страхом бил по мозгам. Почти во всех концах города дворы между домами продолжали вспухать новыми бетонными бомбоубежищами, и поезда метро проскакивали без остановки станцию Кировская, занятую властями высшего уровня.

Войну еще напоминали и пьяные драки на Преображенской площади инвалидов, бившихся костылями до первой крови возле ресторана Звездочка. Другие безногие (их называли “самоварами”) на самодельных тележках – досках с шарикоподшипниками – здесь же били друг друга деревянными “утюжками”, которые при движении служили им для отталкивания от асфальта. У безруких инвалидов к культям привязывались железные крюки, которыми они тоже по- пьяни лупили своих собутыльников.

А на Преображеском рынке шла бойкая торговля широким ассортиментом трофейных товаров: немецких (реже итальянских) аккордеонов, губных гармошек, гимнастеров, женских шелковых и хлопчатобумажных комбинаций и кофточек, ночных рубашек, мужских сорочек, сапог, шинелей, курток. И нашу скудную хлебо-каше-картошечную еду очень кстати облагораживала американская лендлизовская тушенка, сгущенка и яичный порошок – драгоценная заморская экзотика, уворованная или легально изъятая из продуктовых пайков, выдававшихся привилегированным гражданам.

Моей маме на работе по так называемому “распределению” как-то досталась великолепная американская кожаная куртка с блестящей шелковой подкладкой, большими костяными пуговицами и глубокими накладными карманами. Это был предмет экипировки из набора одежды летного состава военно-воздушных сил США. Мама щеголяла в этом наряде много лет подряд, пока ее сын не достиг половозрелого возраста, потребовавшего привлечения к нему внимания противоположных особ. Естественно, что для удовлетворения неотложных сексуальных потребностей юного повесы заокеанский прикид ему был совершенно необходим. Поэтому лендлизовская куртка из маминого гардероба перекочевала в сыновний и продолжила свою службу на других тоже не широких плечах сына вплоть до самой его женитьбы.

Вся околорыночная территория Преображенки кишела разношерстными попрошайками, среди которых, кроме просящих “христа-ради” простоволосых старушек и бородатых старичков, было много и беспризорников, наших сверстников. Одни из них просто клянчили “дяденька, подай копеечку”, а другие пели жалостливые старорежимные песенки, типа “*мать моя в могиле, отец в сырой земле*” и “*никто не узнает, где могилка моя*”. Значительная часть мальчишек была карманными воришками и кормилась у взрослых уголовников, таская им кошельки, портсигары, часы и прочую мелочевку.

После находившейся неподалеку школы мы частенько заходили на рынок поглазеть, как ловко дурят бесхитростный народ доморощенные фокусники маги. Все они работали с подставными лицами, которых всех мы давно заприметили. Наперсточникам они помогали, правильно отгадывая под каким наперстком лежит тот или иной шарик и получая за это свои десятки и двадцатирублевки. У предсказателей эти деньги отрабатывались путем тыканья смазанным жиром пальцем в пакетик-секретик, который из общей кучи вытаскивала “умная” белая мышка.

Со временем в школе нам ежедневно стали выдавать по импортному белому бублику с блестящей золотистой коркой, иногда даже украшенной негустой россыпью черненьких точек

мака. Позже, уже в старших классах, нас стали одаривать даже булочками. На большой перемене кто-то быстро и жадно пожирал эти роскошества, а кто-то продлевал себе удовольствие, медленно разжевывая и глядя языком нежную сладковатую мякоть. А для некоторых из нас эта школьная подкормка была чуть ли не единственной едой за весь день.

Пишу это и вспоминаю рассказы моей мамы, голодное детство которой в годы Гражданской войны тоже помнилось сдобными белыми пышками, поставляемыми в Россию американской АРА (“American Relief Administration”). Невольно подумаешь, какие же сволочи эти многочисленные хулители США, которые повсюду, от России до Венесуэлы, неизвестно за что клянут “толстосумов Уолл-Стрита”. Как можно с такой преступной неблагодарностью и ослепленной злобой относиться к великой и благородной стране, которая во все времена и во всем мире протягивает руку помощи страждущим, голодающим, бедствующим?

Несмотря на все еще продолжавшие действовать суровые законы военного времени для меня война основной своей частью уже оставалась в прошлом – в потертом фибровом чемодане моего эвакуационного детства. Впрочем, и во всем вокруг то тут, то там начинали постепенно появляться просветы в мрачной повседневности той нашей жизни. Кое-где на Пушкинской и Театральной площади стали загораться по вечерам уличные фонари, возобновились постановки в Большом и Малом театрах, на улице Горького открылся диковинный “Коктейль-холл”, кое-где осветились витрины магазинов. Но главное, для меня наступала волнительная пора взросления, медленно приближавшегося к моему непростому и безалаберному отрочеству.

А день победы запечатлелся в моей детской памяти лишь как чуть более праздничное продолжение длинного ряда салютов по случаю взятия Бреста, Кенигсберга, Данцига, Бреслау, Франкфурта и других городов, о которых я раньше никогда не слышал. Они становились для меня географическими открытиями, дополнявшими мою коллекцию названий разных уголков земного глобуса, уже известных мне благодаря собиранию почтовых марок.

Крыша поехала

Время лечит то, что времена калечат.

Согласно этой известной формуле первые несколько послевоенных лет сегодня мне уже не кажутся такими тяжелыми и страшными, какими они были на самом деле, и какими стали всюю представляться в хрущевские оттепельные посытневшие времена. Но, видимо, в данном случае моя память еще подслащивается и защитной любовью и заботой старших, которые меня тогда ею счастливо одаривали, охраняя, как единственного в семье ребенка.

А ведь те годы, действительно, были очень даже паршивыми. Царила всеобщая разруха, нищета, недоедание, нехватка хлеба, мяса, сахара, мыла, белья, пальто, рубашек. Голодные, плохо одетые люди жили в подвалах, бараках, сараях, ютились в каморках коммуналок. Конечно, трудности тех времен не могли не коснуться и нашей семьи, хотя, возможно, и не в такой звериной степени, как других.

Осенью 1946 года крыша у нас над головой почти в буквальном смысле “поехала” – прохудилась, в дождливые дни с потолка лилась вода, зимой температура в комнатах не поднималась выше 15 градусов. За керосином в керосинных лавках и за дровами на коммунальных дровяных складах мы с мамой по часу мерзли в длиннющих очередях, потом во дворе пилили, кололи и складывали штабелями в сарае. Топить ими печь было далеко не просто – сырые поленья плохо разгорались, их приходилось сушить прямо в комнате, что стало превращать темные потеки на стенах в желто-зеленые пятна плесени.

Как и во время войны, с едой продолжалась удручающая напряженка, отмена карточек положение вовсе не улучшила, а для тех, кто не очень-то был шустрым и предприимчивым, только ухудшила. Мама обменивала на рынке кое-какие вещи на яйца, масло, молоко, сметану.

Немного спасала картошка – под нее мы засадили ту часть земли загорянской дачи, которая не была еще занята невырубленными соснами.

Следуя скоростным темпам послевоенной сталинской пятилетки, начал стремительно набирать силу и свирепый государственный антисемитизм, который надежно подпирался традиционным бытовым юдофобством. Газеты чернели сменяющимися друг друга без всяких антрактов крикливыми драмами (потом трагедиями) разоблачений литературных критиков, ученых-низкопоклонников, менделистов-морган истов, ком позиторов-формал истов, художников-абстракционистов и безродных космополитов вообще.

По этим же сценариям разыгрывались и частные горести моей семьи: маму уволили с работы, бабушку чуть не посадили в тюрьму, папу сняли с должности, а меня долго, как раньше в пионеры, не принимали в комсомол, что я почему-то сильно переживал. Читая позже откровения свидетелей куда более страшных и ставших широко известными юдофобских деяний вождя-параноика, я подумал, какое счастье, что судьба нас в то лихое время все-таки как-то пощадила.

В конце 40-х годов темная полоса жизни-зебры стала особенно густо чернеть и от наших собственных семейных неприятностей. Родители с ссорами, скандалами, слезами, руганью и проклятиями разбежались в разные стороны. В доме появился чужой человек, Тихон Палыч, я же с подлой подростковой резкостью и нетерпимостью встретил его в штыки, мерзко грубил ему, дерзил. Удивительно, как это он все терпел, безответно перенося мое недопустимо гадостное к нему отношение. Прошло довольно много времени, пока я немного утихомирился и перестал так сволочно вредничать. Скорее всего, исправлению моего поведения способствовал на редкость спокойный, тихий, уравновешенный характер ТП (так мы его про себя называли), который, в отличие от моего отца, умел вовремя отшутиться и перевести острую ситуацию на юморную позицию. Позже и до самой его смерти мы были с ТП в нормальных, если не назвать их теплыми, отношениях.

В свои 16 лет я впервые увидел смерть. До этого она мне представлялась полной абстракцией, существовавшей лишь в литературном, киношном и театральном пространстве. На самом деле, я знал, что жизнь конечна, что все смертно, и итог каждого бытия – небытие.

Эта неизбежность представлялась совершенно очевидной. Загробная жизнь? Глупость, фантазия, сказка, нелепость. Вон лежит трупик мертвого жука, что же он оживет? И человек ничем от него не отличается, у него такая же своя единственная жизнь, неповторимая, как вчерашний день.

Моя встреча со смертью произошла, когда умер дядя Соломон, родной брат моей бабушки, тот самый, который уже в солидном возрасте всех удивил производством на свет третьей своей дочери Лии, бывшей почти на 40 лет младше своей старшей сестры.

Похороны проходили на территории первого московского Крематория при Донском кладбище. Усопший лежал в гробу, чужой, незнакомый, совсем не похожий на того человека, которого я знал. Крупные черты его лица измельчились, большой ноздреватый нос опустился, щеки ввалились, кожа сморщилась, и вся голова казалась только черепом. То, что я увидел не было дядей Соломоном.

Гроб возвышался на постаменте, покрытом черным крепом. Высокая тетя-лошадь, устроительница ритуала, торжественным голосом произнесла: “Дорогие родные, родственники и друзья, прошу прощаться с покойным”. Все выстроились в очередь и стали по одному подходить к гробу, каждая из обеих дочерей покойника прикладывала губы к его лбу. Другие в лучшем случае касались рукой белого покрывала. А я, широко распахнув глаза, стоял в стороне и ни на шаг не решался приблизиться к гробу – мне было страшно и тревожно.

Двое бородатых молодцов принесли крышку гроба и, забивая в нее гвозди, гулко застучали большими молотками с черными ручками. Затем церемониальная дама изрекла несколько пустых слов, после чего пол под гробом вдруг раздвинулся, и дядя Соломон вместе со своим последним домом медленно опустился куда-то в таинственную подпольную неизвестность. Раздались последние громкие, а где-то приглушенные рыдания, всхлипывания, и толпа в черном, разбиваясь подвое, потрое, двинулась к выходу.

И вдруг у меня прорезалась некая нехорошая, показавшаяся стыдной и подленькой мысль. А по правде ли все так уж сильно горюют? Нет ли тут некой нарочитости? Ведь каждый, хотя и огорчен чужим горем, но в глубине души рад, что пока это не его случай, что его конец еще даже не проглядывается, что он еще далеко. Конечно, увы, всем придется вот также лежать в гробу, но когда это будет? Чего же сейчас горевать? Пока еще жизнь прекрасна и удивительна.

Недаром ведь, подумал я, придуман этакий успокоительный ритуал – послепохоронные поминки. Проводив на вечный покой своего дедушку или бабушку, их дети, внуки, родные, родственники, друзья, знакомые с удовольствием тусуются, хорошо выпивают, аппетитно закусывают, иногда даже песни поют (конечно, грустные). Многие из них, годами не встречаясь, пользуются случаем отметить, что “у Машки вся физиономия в клетку”, или что “Семен совсем сдал, в ящик просится”, а вон “Катька, мерзавка, к Якову Матвейчу в штаны лезет”.

И внимательно посмотрев на шедших рядом людей, я обратил внимание на то, как быстро сохнут слезы на щеках близких. Вон моя кузина Галка шныряет глазами туда-сюда, и чуть ли не улыбка бродит по ее толстым губам. А как смотрится ее мама Поля? Она идет под руку со своим Виноградовым и оживленно шепчет ему что-то на ухо. Даже Лия, младшая соломонова дочка, которая громче всех рыдала у гроба, теперь тоже довольно живо беседует о чем-то с моей мамой. И, наверно, подумал я, все это вовсе не так уж предосудительно, у каждого свои проблемы, свои дела, заботы. Мертвым – мертвое, живым – живое.

А еще, философствуя на общие темы, вывел себе на будущее нехитрую формулу: надо жить долго, а умереть быстро. Вот как дядя Соломон, почти в 90 ушел из жизни скоропостижно, неожиданно и никого не обременял своими болезнями.

Придя с похорон домой я сочинил еще один свой беспомощно-детский эпигонский стишок:

Дождь закапал босыми ногами по лужам,
Раскатился громами бесстыдной грозы,
Будто знал, что особенно нужен
Всем, кто раньше не ведал слезы.
Над могилой аккорды Шопена поникли,
В медных горлах сгустились тугие комки,
Скорбь навек запечатала гроб одноликий,
На сердцах, на глазах отомкнула замки.
Но вот в небе над мокрым озонным затишьем
Громкий рокот моторов вдали заурчал.
Своей бодростью вовсе нелишний,
И смерть убивавший, он жизнь утверждал.

1 июня 1954 года

* * *

И тогда же у меня в мозгу впервые засвербела некая догадка, показавшаяся мне в тот момент великим открытием, и к ней я потом неоднократно возвращался. Почему так нелепо,

так незащищено сделан человек? Где его запасные части, неужели нельзя было предусмотреть, что ему могут оторвать ногу, руку, что он может заболеть? Чем мы хуже ящериц, у которых вновь отрастают оторванные хвосты?

Я думал, почему так неправильно, неэкономно создано высшее на Земле живое существо, нерационально устроен его организм – слишком много в нём сложных органов с многоступенчатыми многодельными функциями. Ненадежны, слабы, ранимы люди – чуть что, и вдруг легкие выходят из строя, почки начинают барахлить, или сердце дает осечку.

В общем, бестолковый тупиковый путь выбрала природа для человека, нет у него будущего. Как не было ни у динозавров, ни у мамонтов.

На том этапе жизни все эти досужие умствования располагались, конечно, на космическом удалении от каких-либо конкретных мыслей о конечности собственной жизни, которые в той моей юности, естественно, никоим образом меня не отягощали. Да и позже, в зрелости, об этом я не очень-то задумывался. Поэтому так постыдно враспloch застал меня заданный мне как-то тринадцатилетней дочкой вопрос о том, боюсь ли я смерти. Мне пришлось промычать что-то нечленораздельное, я не знал, что сказать.

Впрочем, такое неведение можно было позволить себе лишь тому, кого до поры до времени не прижучила та самая Хворь проклятая, кто пока ещё благодушествовал, находясь в вертикальном положении, и кому всё ещё чего-то хотелось. Пусть не мягкой койки в купейном вагоне поезда Москва-Сочи и не кресла в пятом ряду партера нью-йоркского Карнеги Холла, а хотя бы свежего огурчика с огорода в Загорянке или конфетки “белочки” из соседнего магазина.

И действительно по-настоящему страшно становится лишь тогда, когда в жестких тисках трудноизлечимого недуга появляется четкое осознание того, что перед тобой та самая финишная прямая, тот самый край скользкой горки, на которой никак не устоять и с которой очень скоро можно стремительно скатиться вниз, в пропасть.

Ну, а что же в старости, чего бояться? С хвостом годов приходит некое лукавое чувство, утешающее душу полнотой и насыщенностью прошедших десятилетий, густотой и долготой прожитой жизни, в плотность которой, кажется, ни одного лишнего миллиметра не вставишь. Возможно, именно это и дает старикам мужество не так уж сильно бояться своего конца. И, тем более, чужого, относящегося к даже самым близким людям.

Помню когда-то я, тридцатилетний, был очень удивлён, как без ожидавшегося мной ужаса встретила моя престарелая бабушка известие об уходе из жизни её любимой сестры Розы. Я думал, она будет навзрыд рыдать, убиваться. Нет, она даже не заплакала, а только вытерла глаза платком и грустно покачала головой:

– Розочка долго болела, – сказала она. – Такой конец для неё всё-таки лучше. Хотя бы не мучилась и никому хлопот не доставила.

Позже я много раз замечал у пожилых людей такую же хладнокровную реакцию на смерть. Не потому ли, что они так близко стоят к тому самому концу? Чему бывать, того не миновать – эту безусловную аксиому понимают они куда отчётливее молодых.

Не знаю, не знаю.

Все-таки очень хочется жить, даже и на склоне лет. Ведь так душист свежий ветерок с клеверного поля, так красив золотой закат солнца на горизонте. Неужели и его не будет, когда меня не будет? Неужели может день такой настать, когда солнцу без меня придется встать?

Да, прав, наверно, кенигсбергский немец Эмануил Кант, изрекший: “все вокруг есть, пока я есть”. Вот я уйду и унесу с собой небоскребы Нью-Йорка и парки Москвы, сонаты Брамса и сонеты Шекспира, лирику Бродского и остроты Жванецкого. Ничего без меня не будет на этой планете.

* * *

Подростковый период моего взросления сильно отягощался назойливой и мучительной неуверенностью в самом себе. Она подпиралась, главным образом, недостатками моей речевой ситуации. Во-первых, я сильно картавил. “На горе Арарат растет крупный виноград”, – этой ребячьей дразнилкой донимали меня и в более раннем детстве, а теперь она приобрела еще антисемитскую окраску. Спасибо тете Фире, занимавшейся тогда лечением потерявших речь инсультных паралитиков, она научила меня говорить после “р” не звонкие “а”, “о”, “у”, “э”, а глухие “я”, “ё”, “ю”, “е”. И я перестал грассировать.

Намного хуже обстояло дело с другим моим речевым недугом – заиканием. Эта бяка меня доставала намного больше картавости. Я нервничал, переживал, и это лишь усиливало мою неспособность произносить начинавшиеся с твердых букв слова. Только в 10-м классе, опять же с подачи тети Фиры, я научился трудные для меня звуки не говорить, а пропевать. Одолеть заикание помогла и появившаяся у меня обычная для этого возраста тяга к сочинительству стихов.

Они рождались во мне как-то сами собой, появлялись неожиданно и очень обильно. Это было вроде слюноотделения, или чего-то еще похуже... Графомания? А что же еще? Ну, и, конечно, самолюбование. Как же смешно это сегодня звучит:

Быстро мы выросли, взрослыми стали,
Нам малыши уже “дядя” кричат.
Взрослые вежливо, даже в трамвае,
"Сходите здесь, гражданин?", говорят.

Или вот еще:

Вот и 17 пришли незаметно,
Прошелестели листки дневника,
Буквы как-будто наклонены ветром,
Их выводила по-детски рука.
Годы и дни, календарь моей жизни,
Мысли, мечты, какофония чувств,
Ветреный нрав и характер капризный,
Вихрь настроений, веселье и грусть.
Все впереди, все зовет меня, манит,
Мне предстоит еще столько узнать,
Приобрести много новых познаний,
В первый раз девушку поцеловать.

Стихоплетство закономерно привело меня к редакторству сначала классной, а потом общешкольной стенгазеты. И я впервые ощутил сладостную трепетность удовлетворяемого честолюбия. Ее уровень поднялся еще выше, когда зимой 1947 года мне было высочайше доверено сочинить стихи к празднованию 800-летия Москвы. На школьном комсомольском собрании я тоже первый раз в жизни взошел на трибуну и вдохновенно прочел свою многословную торжественную оду. Никаким заикой я уже не был.

* * *

Тинейджерские годы, как никакие другие, почти у каждого из нас теснятся крепкой многосторонней подростковой дружбой. В этом возрасте поиск места под солнцем, наверно, связан с тем, что человеку важно сравнить себя со своим сверстником, посмотреть на себя его глазами, поведать ему то, что маме с папой доверить никак нельзя.

Мое отрочество, а потом юность была плотно наполнена дружбой с двумя моими одноклассниками Котей Брагинским и Мариком Вайнштейном. Они оба были круглыми отличниками, жили в одном доме и дружили друг с другом с раннего детства. Меня к Косте (с кличкой Кот, конечно) тянула наша одинаковая склонность к псевдо-глубокомысленному философствованию, а проще говоря, к балабольству и краснобайству.

Мы могли часами бродить по Преображенским улицам и говорить, говорить, говорить. Обсуждению подвергались “Последние из могикиан” Купера, “Буря” Оренбурга, землетрясение в Ашхабаде, война в Корее, летающая тарелка над островом Баскунчак, изгнание арабов-палестинцев из Израиля, неподатливость тригонометрических функций и бинорма Ньютона.

Наша дружба с перерывами разной длины продолжалась и в студенческие времена, и тогда, когда Котя стал Константином Исаковичем. Уже будучи инженером, он окончил математические курсы на физмате МГУ и потом много лет вел прочностные расчеты космических ракет в одном из самых закрытых Почтовых ящиков. На последнем этапе жизни Котю сильно доставали боли в спине, думали, что это не очень опасный остеопороз, а оказался – страшный рак. Умер он в Германии.

Макс Вайнштейн, в отличие от нас с Котей, никаким гуманитарием не был, его интересы крутились возле строгих законов физики, точных математических формул, сложных геометрических построений. Его мозги свободно жонглировали иксами, игреками, зедами, уравнениями с 2–3 неизвестными. Он прекрасно играл в шахматы, участвовал в разных чемпионатах, получил даже спортивный разряд. Не меньше были его успехи в карточных баталиях, никто из нас не мог сравниться с ним в блестящем разыгрывании партий преферанса.

Несмотря на успешно сданные приемные экзамены, в Бауманский институт Марика не приняли – он был сыном репрессированного “врага народа”. С теми же отметками ему пришлось идти в педагогический, после окончания которого он всю жизнь проработал простым учителем математики в школе и техникуме.

Долгое время после школы мы с Мариком плотно не дружили, только перезванивались, поздравляли друг друга с днем рождения. Встречи наши были эпизодическими. Ну, конечно, я пришел на похороны его мамы Сары Абрамовны. Пару раз побывал на концертах его сводного (от маминого второго брака) брата Бори Цукермана, бывшего сначала оркестрантом у Е.Светланова, а потом убежавшего от него в Голландию и ставшего известным скрипачем-исполнителем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.